



Борис ЩЕРБАКОВ

## В час Луны

Так уж устроено, что только солнечный свет открывает нам все прелести мира. Вечер — время перемен: гаснут цвета, меняется настроение, лёгкая тревога вселяется в сердце. Ночь — что обратная сторона Луны: загадочна и “чужда”, необъяснимо волнующая. И всё это с невероятной силой переживаешь в час Луны в отдалённых горах Монрака — хребта, “залёгшего” между зайсанскими далями и Чиликтинской долиной. Учёные относят его то к Сауру, то к Тарбагатаю. А он и сам по себе интересен... Всё это нашло отражение в казахских преданиях и легендах об этом хребте.

Есть у хребта ещё одна странность, которая с особой силой проявляется в лунные ночи. Но, прежде, в минуты заката, когда солнце коснётся гористого горизонта Тарбагатая, островерхие, крутобокие горы Монрака на глазах меняются: вспыхивают то лиловыми, то голубыми, то сиреневыми красками. И в этот прощальный час, когда день уже за порогом, горы хребта обретают фантастическую контрастность и поселяется здесь особый, ни чем не связанный с нашим временем, мир... Наступает момент, и сползающее багровое светило выплёскивает последние лучи на его вершины, и тогда, словно огненные языки, клиньями врезаются они в синий бархат потемневшего неба. Угольно-тёмными становятся провалы и ущелья. Нельзя не вспомнить горную палитру Рериха, с её необыкновенными, но правдивыми красками. Несомненно, что великий художник “отливал” в картины свои горы в часы заката или на восходе...

Так было и в этот вечер: солнце уже исчезло, сумрак завалил ущелья и теснины. Горы в ожидании близкой ночи настроились на тишину и покой. И мир оказался на стыке времён, когда особенно ощутима вечность.

На каменистом склоне, среди ковылей и полынок, я сбросил лёгкую походную ношу и разложил небольшой костёр. И как только языки его лизнули вечернее небо, на горе объявился фантастический образ красного всадника на красном коне, опалённый багровым светом. Лошадь “красного всадника”, сухо стуча копытами, остановилась около. Фантастический образ его померк. Всадник — аксакал, каких можно встретить повсюду в казахской степи. Поздоровались.

— Давно тебя смотрю. Что делаешь?

Звали его Мукаш. Это был известный здесь местный табунщик.

— Лошадей пасу. Здесь, — он кивнул головой в сторону, откуда приехал. — Табун у родника. — Он сбросил притороченные к седлу нехитрые пожитки и стреножил лошадь. Чукнул на неё, слегка ударив камчой. Лошадь неуклюже, с трудом передвигая ноги, медленно пошла к своим.

— Ночевать будем? — спросил он.

— А чего, вдвоём веселее, — принимаю предложение.

Мукаш — стар и сед. Всю жизнь прожил здесь, в горах, — на кыстау, на джайляу... Дети давно разъехались по городам, а он и сейчас живёт где-то недалеко в чабанской избушке.

— Давно тебя вижу. Сижу, наблюдаю, — говорит Мукаш, — что здесь делаешь? Один зачем ходишь?

— Ты же тоже один. И ничего...



— Я не один. Я здесь родился. Здесь мой дом... В этих горах могилы моих предков... А ты зачем?

Разговор наш затянулся. На расстеленную газету выставляю паштет, сухари, сахар... Мукаш вынимает из мешочка и бросает на "стол" запашистые, пропитанные бараньим салом лепёшки — чильпеки.

— Твоя еда нехорошая... Чильпеки, курт ешь? — спросил он. — Когда курт ешь, кушать и пить не хочется... Полезный очень — из молока овцы, козы и коровы. Вкусно и хорошо... Курт ешь если — кишки болеть не будут.

Время от времени Мукаш прерывал разговор, вслушивался... за сопкой слышался храп и короткое ржание...

Он вынул из свернутой кошмы небольшой мешочек, туго перевязанный сыромятным ремешком. Развязал его и вытряс на наш импровизированный стол с десяток круглых, похожих на теннисные мячики, каменистых шариков. Я взял один из них и прикусил. Но не тут-то то было: зубы тупо скользнули, и во рту только кисловато-молочнистый привкус.

— Ты пошто так ешь, не видел никогда курт?

— Ел, как же.

— А чего зубы ломаешь?

Мукаш теперь по одному шарик у клал на плоский, не остывший ещё от зноя камень, и осторожно бил по нему другим: курт рассыпался, издавая глухой звук, — "ках-ках...". В нос ударил свежий, кисловатый запах.

— Теперь давай тёплый кипяток, — показал он глазами на чайник. Тут же он насыпал в кружки мне и себе беловатой "дроблёнки" и перемешал.

— На, пей!

Мы пили нечто тёплое, напоминающее густое кислое молоко, отдающее солнцем и ветром.

— Ешь всегда курт — будешь крепкий и ходить хорошо будет. Так всегда делали мои предки...

— А ты что так всегда и пасёшь здесь лошадей? — спрашиваю.

— Да, всегда. Только завтра родственник будет пасти. Потом снова я...

Из-за гор выплыла громадная луна и в упор смотрела на нас. Свет её был настолько ярким, что без труда можно было читать мелкие заголовки на разостланной газете. Теперь время от времени жидкая борода моего собеседника стеклянно вспыхивала. А сам он в "степной" позе — с подобранными под себя ногами, походил теперь на сказочного Хоттабыча. Я огляделся: маслянисто, словно подсвеченные изнутри, светились скалы и осыпи. Но по-прежнему черны и тревожны были ущелья. Мёртвый свет поглотил теперь весь этот мир — от макушек скал до самых далёких звёзд.

Мукаш оказался на редкость неразговорчивым. И хорошо: так хотелось насладиться тишиной и покоем наступившей ночи, послушать таинственные голоса...

Окончив чаепитие, аксакал аккуратно расстелил кошму, подтолкнул под голову седло и лёг на спину с запрокинутыми за голову руками. Молча и сосредоточенно глядел он в далёкие золотистые небеса, словно видел их в первый раз; о чём-то думал, шевелил губами и снова жадно вглядывался. Мне вдруг показалось, что он видит там нечто мне неведомое. Я тоже прилёг на спальнике, и мы оба молча смотрели в звёздные дали. О чём думал старый табунщик, осталось загадкой. Как он — старый степняк и кочевник, выросший под этим небом, — воспринимает его?

Над пустынными горами плыла чудная тёплая ночь, обнажая далёкие звёздные миры. Ночи такие бывают только в настоящих больших пустынях.



Угасая, костёр постреливал, и тогда жарко зыркали из-под серебристого пепла огнистые глазки последних угольков.

Призрачный свет обнажил в этот час совсем другой мир. Очаровательный и тревожный. Всё стало неузнаваемым — скалистые сопки, поникшие травы... Смоляные провалы и щели, густо-чёрные, как тетеревиный хвост, пугали. У спящих скал, у ручейка стоял тонкий золотистый дымок. Феерический свет размывал очертания гор, и казалось, что это подводный мир, в глубинах которого таится напряжённая тишина, и вечность дышит тебе прямо в лицо. В этот час, когда просыпаются на земле тёмные силы, когда луна вздымает приливы морей и океанов, а кровь, напрягая виски, поднимает лунатиков, и творится на земле в это время что-то колдовское, таинственное... Будто призрачное светило оживляет все спящие днём тайны.

Я смотрю на луну: под золотистой мантией прорисован её мрачный образ. Спокойная, Великая плывёт медленно, оглядывая каждый камешек, сжигая темноту. Но тут же, следом, ползут чернота и мрак. Луна обходила свои ночные владения, наслаждаясь красотой и покоем. На кончиках листьев уснувших трав, на усатых ковьяхх подрагивал чуткий небесный огонь. Зыбкой вуалью свет её падал на лицо табунщика.

Всё было красиво и тревожно, когда тишина — закон, а молчание — необходимость. И нет, пожалуй, другой звезды или планеты, способной создавать настроение скрытой печали и лёгкой скорби, как может это луна. Мир остановился: не плывут облака, спят ветры, недвижно серебро ковьяльных разливов... Горы мутны как затонувшие корабли в глубинах времени. И всё, на что ни посмотришь, — в тревожном, молитвенном молчании, в глубоком гипнотическом сне.

Мукаш спал. На впавших щеках его утеснилась плотная тень. И только высокие скулы удерживали подрагивающий свет.

Я смотрю на него и спрашиваю себя: "Кто ты? Кто я?.. Зачем мы вместе в царстве заблудших теней?".

Полнокровная луна вспугнула сон мой. Тихо, чтобы не разбудить его, встаю и иду на ближайшие сопки. Обожаю одиноко бродить в лунном свете по диким, безлюдным местам. Сейчас же, когда вокруг совершенно незнакомый мир, лечь и уснуть было б грешно...

— Ты пошёл? — спросил неожиданно Мукаш.

— Да!

По вершине горы шёл как по острию земли, разделённой на мир света — со стороны луны — и мир теней. Спустился в ущелье, и сразу словно растворился, исчез... И если б не перезвон цикад, соло одиноких сверчков и печальное урчание жаб, можно было подумать, что оказался не в горах, а в фантастическом сне или на другой планете, с которой сорван скальп. А вокруг долины и горы — всё это лунные территории, где есть своё море Дождей и море Жажды, море Облаков и Спокойствия, нет только Океана бурь. Если на Луне есть свои горные хребты, как Альпы, Аппенины, Кавказ, возможно, был когда-то на ней и Монрак. Теперь он здесь — на нашей Земле между Сауром и Тарбагатаем. В это можно было бы поверить, если бы вместо Луны над головой светился голубой шар родной планеты.

Мистика говорит, что в час Луны, когда мерцает "острый блеск гранитов", просыпаются тёмные силы. И сам я не иду, а крадусь бесшумной лисою вместе с моей неразлучной тенью. Но как только прохожу коридорами серебристых теней ближних скал, — тень пропадает, оставляя меня опять в одиночестве.



А луна прямо в лицо, задумчивая, и смотрит омертвевшим взглядом. Всюду покой и печаль... И кажется, нет выхода из этого царства.

Но вот — красные, фиолетовые, синие точки огней из-под тёмных камней (!?) — на меня смотрят восьмиглазые пауки. Как хорошо, что есть хоть кто-то живой. В разломах гор и тишины завелась вдруг говорливая каменка, охнула сплюшка, проскулил монгольский снегирь — обитатель "лунных" ландшафтов... На сердце полегче. Запинаясь о камни, шумя ковыльными травами, тревожа сон спящих камней и чутких архаров, иду к ночлегу. Слышу, как в стороне раскричался, раскудахтался и шумно улетел за соседнюю гору перепуганный кеклик. На душе праздник.

— Ты пришёл? — сквозь сон тихо спросил Мукаш.

— Да!

— Чего ходил?

— Так, любовался горами...

— Ночью чего смотреть? Горы ночью неинтересны.

— Почему ж? Очень даже...

— У тебя светлые глаза, может, тебе и видно всё, — шепчет он.

— А ты разве не видишь своими, тёмными?

— Мне не нужно ходить ночью одному, как каскыр. Я знаю здесь всё, что ты видишь и слышишь днём... Ты плохо знаешь горы, потому подсматриваешь и подслушиваешь... Сейчас можно хорошо спать — каскыра нет. Когда лошади спокойны, табунщик отдыхает...

Я хотел было задать вопрос — почему он так решил, что нет каскыра, но он опередил:

— Я хорошо слышу, слышу, как отдыхает табун.

— Давай спать. Завтра опять день будет жаркий, — говорит он и, передвинув поудобнее седло, перевернулся набок.

Луна опустила ещё ниже — стала ещё больше и ярче. И ещё пуше опалила спящие горы серебристым светом. Подохла ковыли, сильнее позолотила выпуклые скулы на усталом лице моего собеседника, и ещё ярче стала светиться редкая его борода.

В этот полуночный час, час Луны, гипнотический взгляд её крепко-накрепко сковал всё живое. Меня тоже клонило ко сну. "День снова будет жаркий".

## Мелодии старой домбры

За степным увалом, где бежит среди скал и кривых топольников каменистая речка, приютилась старенькая юрта. Войлочная кровля в заплатах, с одного боку — труба самоварная. Жидкий кизячный дымок проливался светлыми прядями, бесследно тающими над чахлой степью.

Гость в степи всегда желанный, всегда ему найдётся место за столом в юрте. Это знает каждый, кто знает казахскую степь. И ещё есть непреложный закон — чем проще юрта, тем приветливей её хозяин.

В этот час знойного полдня у коновязи, за плетнём, сохли кизячные лепёшки и, отмахиваясь от мошки и слепней, на коновязи стояла лошадь, наслаждаясь отдыхом.

Из-за щелеватой, слегка перекошенной двери юрты выскочил взъерошенный пёс с подрезанными ушами и хрипло залаял... Дверь приоткрылась и показалось женское лицо.

— Пить — э! — послышался мужской голос: из юрты вышел хозяин.

— Здравствуйте! Саламатсизбе! — приветствую.



— А, аман-аман, — кивнул головой он и, остановив на мне взгляд, как бы между прочим сказал: — Чего стоишь, айда, заходи...

Сбросив рюкзак у входа, стягиваю сапоги — под ногами мягкая старая кошма.

— Айда, садись, — показывает он на круглый низенький стол, на котором ещё не убрана посуда и прикрытая полотенцем еда. В наспех сложенной печурке сквозь серую золу просвечивали перегоревшие кизячные слитки.

— Шай акель, — мимолётно сказал он хозяйке, которая уже успела всполоснуть и поставить перед нами на стол пиалы.

В юрте всё было привычно, как в каждой другой, затерянной в безмерных казахских степях от Каспия до Алтая: обстановка походная, небогатая, но всё чисто и уютно. У стены — кереге, на деревянном топчане на стопе одеял пирамидой — подушки. В сторонке, под сармаком, небольшой, когда-то зелёный, сундук, обитый крест-накрест полосками схваченной ржавчиной жести. Да ещё волчья шкура и старая, с потёртым грифом домбра с подвязанной к ней кисточкой перьев филина. Да ещё в неказистой застеклённой рамке семейные фотографии.

— Куда идёшь, — спросил хозяин.

— Экспедиция...

— Геолог?

— Нет. Архарами интересуюсь. Есть в твоих горах архары?

— Есть-есть, — кивает он головой, — только мало. Раньше много было. Теперь нет почти...

Просто и свободно завязался разговор. Хозяйка отвернула полотенце: на деревянной тарелке золотисто блеснула горка свежих баурсаков. Жумакан, так звали хозяйку, тут же в большой пиале поставила желтоватый каймак...

Нурбулату — под шестьдесят. Не первым уже серебром тронуты редкие усы; полупроседь в коротко остриженных волосах вспыхивала слюдяными искорками по всей голове.

Несмотря на годы, лёгкая и подвижная Жумакан, с бархатистыми глазами, одетая в красное цветистое платье и вельветовый жилет, быстро управлялась около стола. Серебряные литые браслеты тускло светились на её загоревших проворных руках.

Разговор наш тянулся неторопливо, как и всё, чем живёт и дышит степь: временами он оживлялся и опять своим руслом, тихий, как степной ручеёк, спотыкаясь о мелкие перекатные камешки, усиливал бормотание. Говорили обо всём... Солнце, казалось, нисколько не переместилось, а я будто уже сто лет знал Нурбулату: знал главное — сколько у них детей и внуков, сколько баранов своих и сколько чужих...

— А что, волки есть? — кивнул я на шкуру.

— Волка много, — сказал он, — плохо стало, шибко много волка...

Жумакан всё это время молча стояла у топчана, также молча подливала в освободившиеся пиалы крепкого душистого чая и ловко бросала в него с деревянной ложки каймак: размешивала его и подталкивала — мол, пей. И опять стояла у топчана с пристальным взглядом, словом не обмолвившись, только время от времени вокруг её красивых, чуть уставших глаз сбегались тоненькие складки.

Степь любит разговорчивых. Без беседы здесь жить скучно. И каждый свежий гость интересен здесь. Хозяин юрты, как повелось, жил





законами своей степи и не терял время, чтобы узнать побольше — о городе, о ценах на жильё, на продукты...

— А что жена у тебя такая молчаливая? — спрашиваю.

Нурбулат рассмеялся:

— Так надо. Молчаливая попалась, хорошо... Меньше ворчать будет... — смеётся.

— И так всю жизнь промолчала? — настраиваюсь на шутку, — хорошая жена тебе попалась...

— Зато в руках её хорошо разговаривает домбра, — добавляет Нурбулат. — Когда женился, сразу договорились: если хочет со мной поговорить, пусть берёт домбру и всё рассказывает. А по-другому у меня времени нет. Степь большая, нужно ездить по ней в гости, на сакман... А если слушать женщину, дома век просидишь.

— Да ну его, болтает что попало, — она смешливо глянула на мужа и махнула на него рукой.

— Вот видишь, — он показал на домбру. — А это она, — повёл пальцем на рамку: на старой, чуть подёрнутой желтизной фотографии сидели молоденькие девушки в национальных костюмах, в тюбетейках, украшенных султанами перьев. У каждой в руках домбра с направленными в одну сторону тонкими, схваченными жильными кольцами, грифами.

— Она у меня лауреат, — сказал Нурбулат, — музыкант хороший.

Рассматриваю старое фото: большеглазая Жумакан из всех своих подружек выделялась прямым, открытым взглядом, прожигающим насквозь.

— Красивая! — говорю.

Нурбулат усмехнулся:

— Не знаю, обычная... После свадьбы, — продолжал он, — я ей сказал, у тебя, женщина, свои дела, у меня свои, а домбра — это мужской инструмент.

— Так ты ей даже и через домбру не даёшь слова?

— А зачем, когда женщина молчит, лучше и быть не может, — хитровато усмехается и косит на неё зеленоватым глазом.

— Ой, не слушайте его, старого болтуна... — несмело вновь возразила Жумакан, — когда надо, он у меня по струнке ходит... Любит похвастать, такой и молодым был... Теперь седой, а всё такой же...

И она с упрёком добавила ещё несколько слов по-казахски.

Пьём чай: запашистые, пропитанные бараньим салом баурсаки источают тонкий, свойственный только им аромат.

— Сам-то играешь? — обращаюсь к Нурбулату.

— Мы все играем. Внуку моему пять, а он уже играет. Жалко, пока ещё не приехал в гости. Каждое лето у меня живёт. Музыкантом будет... Казаху нельзя без домбры, это наш национальный инструмент, избранный предками.

— Скажи, Нурбулат, давно голову ломаю, почему у домбры только две струны?

— Не знаю, — шутя ответил он: вокруг его пронизательных глаз залегли шоколадные морщины. — Ты спроси, почему у моей Жумакан глаза чёрные, а у меня как весенняя трава? Тоже не знаю. Думаю, — отвечает лукаво, — казахи считать умели только до двух. Потому и натянули только две...

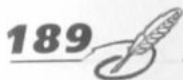
— Получается, русские, делая балалайку, считали только до трёх?

— Кто знает, может, и так... — смеется Нурбулат.

— А что тогда скрипка, по-твоему?

— О, скрипку делали, наверное, итальянцы, думаю, знали, сколько будет два плюс два. Недалеко ушли...

— У гитары шесть и семь бывает струн... и что?



— Кто мастерил её, совсем грамотные были, только каждый раз ошибались — на одной гитаре натянут шесть струн, на другой — семь. Грамотные, но путали... шесть и семь...

— Арфу, — продолжает он, — придумали, наверное, греки — они-то — превеликие математики: струн столько, что любой грамотный со счёта собьётся. — А если по-серьёзному, не знаю, почему на "одной палка два струна", и иронически добавил: — Может быть, чтобы лёгкой была при кочевье, и ещё — её такую легко и быстро сделать было степному жителю. Кто теперь скажет... почему?

Нурбулат бережно снял домбру, сел на прежнее место, подобрав под себя ноги, широко расставив колени, и посмотрел вопросительно, словно хотел спросить — "слушаешь?".

— Конечно, сыграй...

Сосредоточившись, он прикрыл глаза, нагнул стриженую голову, припав ухом почти к пузатому телу домбры, и стал тихо пощипывать, настраивая. Глухо и невыразительно отозвалась домбра на прикосновения его рук, словно со сна.

Но вот Нурбулат подтянул закрутки грифа, поднял её и неожиданно, с яростью ударил по серым струнам. Глухо и недовольно отозвалась домбра, — охнула, как престарелая байбише. Ещё миг, и в волшебной пляске забегала рука Нурбулата по тонкой шее, забила раненой птицей кисть другой руки над струнами, и тогда помолодевшим голосом залилась она свободно и мелодично, ни на миг не прерывая дыхания и торопливого, утробного пения. И волна голоса её, подобно молодому жеребёнку, что сорвался с привязи на свободу и, соревнуясь с ветром, умчался в необъятную степь. И, казалось, что у домбры не две, не три и не пять струн — звучал целый струнный ансамбль. Руки Нурбулата, не зная усталости, летали по старой домбре и голос её легкокрылой птицей кружил теперь под шаныраком в поисках воли... Ему было тесно...

Нурбулат, не открывая зелёных глаз, покачивал головой, словно усыпленной волшебной мелодией, но руки по-прежнему не знали покоя.

Какое-то особое очарование охватило меня. Картины прошлого степи одна за другой проплывали в сознании. И откуда сила такая, вызывающая из глубины сознания что-то давно позабытое и утраченное? Обежал свежим взглядом своды юрты, нехитрую, но удобную обстановку...

И слышу уже грудные переливы, как воркование горлинки. Они закружились уже где-то над юртой, и было чудо: голос домбры парил далеко в поднебесье — и мелодия сама, без Нурбулата, жила собственной вольной жизнью — звучала печальная мелодия старинной народной песни "Караторгай". Песня чёрного жаворонка — караторгая — медленно переходила в печальное песнопение снежной пурги, и снова вдруг, неожиданно, рассыпалась песней — джурбая, вернувшегося с зимовий в раннюю талую степь. И ещё перед глазами не исчезли картины весенней степи, как вновь тоскливыми и печальными голосами оживляют даль летящие белыми связками к степным озёрам первые лебеди.

Домбра, казалось, теперь пела и рыдала сама. Мы лишь слушали её живые легенды... И можно б поверить, что всё это сама домбра, если б не гордая голова Нурбулата да огнистый, мятущийся взгляд пронзительных глаз, да ещё его беспокойные, быстрые руки... А голос старой домбры — грудной и печальный, словно песня влюблённой, раскрепощённой собственным счастьем, рвался прямо к солнцу. Домбра не умолкала: раскалённая



лихостью и огненной страстью хозяина, — взхлёб, торопливо рассказывала о просторе, бездонных небесах, о страданиях и думах степняка, вспоминала былое кочевых народов Великой степи.

Я понял, что две струны — это не просто, это всё — диалектика мироздания, единое — света и тьмы, добра и зла, любви и ненависти... Она теперь соединяла, казалось бы, несоединимое, и голос и мотив души её делал прекрасным противоречивый, прекрасный мир. Нет, не просто две струны, это два полюса — север и юг, запад и восток... И читаю будто в хитроватых глазах музыканта: "... до двух только считать умел казах, а может, больше и не надо...".

Можно и согласиться: "больше не надо"...

Мелодия вдруг угасла. Я "вернулся" с дальних высот в юрту, но она уже полнится русской, балалаечной мелодией — "Светит месяц, светит ясный...". Перед глазами наши, пристанские завалинки, деревенские сиделки... Наши бабушки и дедушки...

Вот тебе и три струны, как три стороны — классический счёт в боевом строе...

Частят пальцы, скачет и мечется кисть, возрождая былое Великой степи, — и слышен уже копытный перебор скакунов — эпическая волна ворвалась в юрту, и зримо представляется летящая конница. Разбивая и расплёскивая тишину, не знающее преград и пощады, мчится из прошлого дикое племя кочевников, вскинув кривые ятаганы, с гортанными криками и оскалом. И мчатся навстречу батыры, с обветренными скулами, не знающие смерти, разметав крылья халатов. Вся степь в движении, и летит племя на племя сквозь века, навстречу собственной судьбе...

Много бед и лишений несли с собой пришлые, чужие племена. Хранит всё это память народная, помнят об этом старая домбра, Великая степь и сердце Нурбулата.

— Ай! — вдруг вырвался возглас, не то с болью, не то с восторгом, из груди музыканта. И домбра, словно выплакавшись, поутихла, но не надолго: вновь, с прежней силой заговорила о чём-то... и снова полилась плавная мелодия — "На сопках Маньчжурии". Нет, не двухструнная домбра напевала старинный вальс — пела скрипка с лирической томностью и чистотой. Это было невероятно...

Жумакан стояла, прислонившись к печи, и молча слушала страдания и радости старой домбры. И только широко открытые бархатисто-тёмные глаза выдавали её душевный пыл и скрытую страсть: время от времени в них вспыхивал огневой блеск и грусти, и восторга.

Нурбулат вдруг откинулся назад, домбра ещё раз вздохнула и покорно умолкла... Некоторое время под шаныраком висела непривычная тишина. Говорить не хотелось...

Прежде чем поблагодарить гостеприимную хозяйку и моего "строного" друга Нурбулата, пришлось выпить ещё несколько кесушек чая.

Прощались мы и вправду как старые друзья: Нурбулат велел передать привет семье и друзьям моим. Даже его взъерошенный пёс, со сварливым характером, и тот тёрся около ног моих, поваливая хвостом. Лошадь по-прежнему, опустив ещё ниже голову, вяло обмахивалась жёстким хвостом, погрузившись в полулёгкую дрему.

Смахивая пот с загорелого лица, Нурбулат стоял у низкого плетня, из которого торчали кольца с гончарными кринками, похожими на чьи-то уродливые головы.



Вдруг из юрты полилась тихая и нежная, до боли знакомая мелодия — прощального “Полонеза Огинского”. И кто бы представить мог — здесь, в степи, у родничка, среди каменистых сопок — живая мелодия великой классики. Полонез, набирая силу и суровую торжественность, проливался светлой болью и весёлой грустью, о чём-то печалась... Пела снова домбра с глубоким чувством, с болью расставания, то отдаляясь, то замирая. То вдруг вновь накатываясь и возрождаясь... Играла Жумакан...

Молча мы слушали божественный голос простого народного инструмента. Я позавидовал себе сам: уверен, никто не мог услышать этого произведения, обжившего своды мировых театров, в сухой степи у родничка под аккомпанемент поющих степных жаворонков. Всё привычное в необычной обстановке обнажается и с пронзительной силой врежется в самое сердце.

— Скажи, Нурбулат, для чего подвязан султан с перьями филина на твоей домбре?

Лицо его стало серьёзным:

— Домбра эта — подарок моей жене. Она большой музыкант: когда была девочкой-подростком, в её родном ауле аксакалы привязали эту кисточку к её домбре. С тех пор эта домбра называется у нас укуле-домбра. Очень почётное, редкое звание. Это пожелание счастья и удачи юному музыканту в его будущей жизни. У нас это — большая честь музыканту. А я так себе, играю для души, для таких, как ты. Как умею. Внук мой тоже играет...

Мне тут же вспомнился случай давней моей юности: пришёл я к приятелю посмотреть первый раз в жизни телевизор. Год 1959 шёл. С экрана пели артисты, слышать которых приходилось только по радио да с патефонных пластинок. И вот молодой паренёк-казах... Ведущая представила его как музыканта, композитора, поэта-песенника. К тому же сам он, оказывается, прекрасно играл на аккордеоне, баяне, скрипке и домбре.

Было что-то необычное в этом парне: поражала разносторонняя способность, неординарность творческой личности.

Прошли годы. Оказавшись в Алма-Ате, довелось однажды познакомиться со скромным молодым музыкантом, производившим впечатление измученного, тихого... Но вот представился случай, когда он взял в руки домбру. Тонкие его пальцы с молниеносной скоростью запорхали по грифу, затрепетали над струнами, и зазвучали прекрасные национальные мелодии. Но вдруг, трудно поверить, полились одна за другой классические мелодии — “Чардаш”, “Танец Брамса № 5”, “Турецкий марш”, “Полонез Огинского” и разные другие “вещи” из мировой классики.

— Вали, — обратился я, — скажи, а было ли...

Я напомнил ему о той давней телевизионной передаче.

— Да, — скромно ответил Вали, — выступал, было...

Вали Бекенов приехал из Китая в годы великих перемен и лихолетья. Оставив чужую страну, он вернулся на родину. Вали, оказывается, был дворцовым музыкантом у Мао Цзэ-дуна.

И вот теперь здесь, в степи, с новой силой явился мне образ Вали, заново воскрес в памяти, когда я вновь услышал волнующую мелодию полонеза.

И пока я отдалялся от каменистых горушек, от гостеприимной юрты, мелодия не переставала звучать. Пела степь щедрой своей душой; звучали струны человеческого сердца, живущего на этой земле. Это была уже не та мелодия, рождённая в Польше в её мятежные годы. И это был не просто голос инструмента о двух струнах, а мелодия степи, рождённая старой укуле-домброй, вспомнившей вдруг забытую, старую классику.